

Игорь Тамарцев

КАМЕНЬ

Однажды, то ли спасаясь от колючей непогоды, то ли иным непредвиденным образом, очутился я на концерте цыганского ансамбля картонажной фабрики. На сцене, драпированной дорогими, но синтетическими тканями, черноволосые женщины и усатые мужчины приплясывали, трясли одеждами, звенели металлическими украшениями, играли на гитарах и стереофонически вскрикивали, нагнетая в зале шум и тоску. Психическое заражение толпы требует благоприятных условий, предварительной подготовки. Здесь же случайная публика и случайные артисты, как зевотой, воодушевлялись взаимной унылостью.

Уйти в самом начале представления было неприлично и хлопотно, и, чтобы как-то потратить время, я принял оглядывать присутствующих, угадывать, какими переживаниями они волнуемы, каковы при этом их лица и каковы они сами.

Один из зрителей привлек мое скучающее внимание. Седенький, аккуратненький, он будто нестерпимо страдал от сценической пошлости, и на лице его скапливалось такое мучительное переживание, которое вызывается только крайним оскорблением эстетических чувств.

На миру и скука не смертна, и поэтому, почти довольный, я до конца первого отделения наблюдал за этим лицом, будучи вполне уверен, что вижу чудака.

На трамвайной остановке мы оказались рядом и, как иногда бывает при подобных обстоятельствах, наши маршруты совпали. Я сел рядом.

- Понравился концерт? - спросил я.

- Изумительно, - охотно отозвался он. - Изюм-ительно. Изюм в том, что такие встряски для души необходимы. Все чувства делаются свежими, как вечером после дождя. Примитив не всегда банален, но банальность - всегда примитивна, и это трогает. Особенно солист, вы заметили - как он старался и как страдал? Жаль мальчишку.

Мой собеседник был, по-видимому, еще большим чудаком, чем я предполагал. Накатанность его речи, точность слова, - еще полбеды, это могло быть свойством книжного ума. Искренность - вот что удивляло. И полное равнодушие к тому, пойму ли я его так, как ему хочется.

- И часто вы бываете на таких концертах? - снова спросил я.

- Никогда. Это первый раз. Но не последний! - рассмеялся он. - Теперь я уж точно стану выбирать только то, на что никто не ходит. Самое худшее. Прелесть как хорошо.

- Отчего же не досмотрели до занавеса?

- Тут нужна дозировка, - захихикал он, - и лекарство нельзя принимать в лошадиных дозах, тем более такое махровое. А вы-то чего сами не остались?

- Скучно, - признался я.

- Понятно. Скучно. Это модно - скучать. Писатели в книгах скучают. Артисты на сцене - скучают. Смотришь по телевизору такого - выпендривается как заведенный, и задницей тряхнет, и руки вскинет, и головой помашет, и ногами притопнет, а - скучно ему, голубчику, смертельно скучно. Как на каторге... И ученым - скучно... И - врачам...

Так и есть, - подумал я, - это один из тех жалобщиков на худые времена, которых, - жалобщиков и времен, - расплодилось несчетное множество. Молодые ворчат на стариков, что-де заедают по службе, да и так, в тягость. Старики сетуют на молодых, что ни нравственности, ни уважения, да и с умом не все ладно. Начальники жалуются на подчиненных, что-де никто работать не хочет, а только денежки получать. Подчиненные недовольны начальством, что-де зажрались. Жены печалятся на мужей, что-де лентяи и бездельники. Мужья скалятся на жен, что-де дуры суматошные... Господи, до чего же весело жить на свете!

- А вам? Тоже скучно? - спросил я.

- Не-е. Многое радует. Вот сегодня позабавился - на три дня хватит воспоминаний. А там - опять что-нибудь эдакое приключится.

- Однако... Ведь есть же у вас занятие... работа.

Он косовато и хитро взглянул сбоку и рассмеялся.

- Работа? Вот чудак. Я ведь отработал свое, а чужого, как говорится, нам и задарма не надо. Затем - сама работа, это что? Строить, как у вас говорится, счастливое будущее?

- Тоже занятие не скучное, - вставил я без особой уверенности.

Он пожевал мятными губами, удерживая нелестное слово, - то ли проглотить, то ли выплюнуть.

- Вы пробовали жить одним днем? - спросил он с непонятным торжеством. - Ага, вижу, не приходилось. Небось, вечером загодя предполагаете, что станете делать утром, а днем планируете, что с вами станет вечером?

- Это так, - возразил я, - но жизнь, наверно, в том и заключается, - угадывать, предполагать, изменять, бороться...

- Вот-вот, - довольный, перебил он. - Бороться! Сейчас ведь не живут, а борются. С природой борются. Или уже наборолись? С пьянством борются. С недостатками тоже. Даже дети борются - с плохими отметками. Борцы! - презрительно воскликнул он, оттопыривая губы. - Ну, боритесь...

Я молчал. Да и что можно было ответить? Мы все были в кольце фронтов. Трудовой - фронт, музыкальный - фронт. Литературный. И целая куча всяких иных. Некуда голову вsunуть - тотчас по макушке схлопочешь.

- То-то и оно, - наставительно заговорил он, угадывая мои мысли. - А надо - просто жить и делать то дело, которым занят. Толково, с умом, крепко и надолго. Или тогда ничем не заниматься. Как я...

- И вас устраивает такая жизнь?

- Вполне, - ответил он уверенно. - Для меня жизнь не в повинность, а в наслаждение... В нас на сладость хождение... Работать? Помните? Читали? Был у вас драматург-песенник. О птицах сочинял. Так в его пьесе недавно я прочитал - один чудак прямо так и заявляет: "Работать? Зачем? Чтобы быть сытым?" Вот правильные слова.

- От безделья человек портится, - заметил я. - И если бы все поступали как вы, мир давно бы развалился.

- Так бы уж и развалился? - усмехнулся он с тайным - и в нем смешным - превосходством. - Или вы чего-то не понимаете, или я вам нехорошо рассказываю. Видите, сейчас у вас есть работа, и к ней вы ищите человека. Не такого, кто к этой работе прилежит, с ней сочетается, сродствен, а случайного. Меня, например, всю жизнь тянуло с деревом возиться, а я, дурак, всю жизнь металлом занимался... Даже вспомнить страшно, на что годы ухлопал... А недавно, скажу вам, пошел я в лес и со срубленных деревьев надрал лыка. Отмочил в разных красках и, как в мальчишестве, наплел дамских лаптей. На рынок понес. Мигом расхватали... Вроде бы глупость. Подделка под народность. Под русский дух. Однако в таком вот и видишь, что еще человек не до последнего изжит, еще чуток в нем живого интереса осталось...

- Оно, конечно, правильно, - сказал я, чтоб только не поддаться. - Но если бы всякий занимался одним тем, что ему

хочется, тогда общество, продуманное и организованное во всех своих структурах...

- Не надо! - поморщился он. - Я ведь по этой причине и радио в доме не держу.

Забавный, все-таки, человек. Слышалась в его словах убедительность и правота. Его правота, не моя. Она у каждого своя. Если ж человек всю жизнь среди других людей толкается, то либо истирается до неузнаваемости, как горошина в мешке, либо озлобляется до невозможности. И раньше встречались мне люди, выпавшие из шеренги, живущие на особицу, будто молчаливые прохожие, равнодушно наблюдающие, как мимо пробегает охваченная общим безумием толпа. Что ее гонит? Куда она стремится? Кто ведает причины и цели ее движения? А мой новый знакомец жил, по-видимому, так, словно давным-давно выпал из мешка, пророс и теперь любуется своими зелеными отростками.

Мы оставили трамвай на общей остановке, - оказалось, что живем домами рядом, - и немного прошли по пустому весеннему прохладно-гулкому и притихшему после ветра переулку.

- Смотрите, какая прелестная луна! - произнес мой спутник с таким свежим, молодым, искренним чувством, что показался мне наигранным и театральным.

- Чудо, как хороша! - ответил я, не взглянув.

Он, вопреки обычной среди стариков отрешенности от чужих оттенков, тотчас уловил иронию и добродушно улыбнулся.

- Напрасно вы так. Всякое существо управляетя либо солнечным ритмом, либо лунным. Вы - каким?

- Сезонным. К зиме - вяну, тускнею, к весне - наливаюсь соками.

- Бывает, - согласился он. - Одни люди ближе к животным, другие - к растениям.

- Третьи - к песку, - подхватил я, - четвертые - к глине, пятые - к камням.

- Камни... Они интересные.

- Драгоценные или отделочные?

- Обыкновенные, гранитные. Такие же интересные, как люди и деревья.

Я почувствовал в собеседнике нарастающее вдохновение. Выслушивать воспарения о бульжниках показалось мне излишним, и я поспешил раскланяться.

Миновало месяца полтора, прежде чем случайно вновь повстречался мне мой новый знакомец. Он улыбнулся так искренне и

приветливо, что не остановиться и не заговорить было бы невежливо. Мы поболтали немного о погоде, о шахматах, о нейтронной бомбе, о поляках, о погоде. Я только соглашался: плохо-хорошо-плохо-хорошо... и неожиданно для себя, досадуя, оказался приглашенным зайти в гости.

Однокого человека узнаешь сразу, даже в домашней обстановке. Он не похож на тех, кто легко живет в толпе, за чужими спинами, притертый чужими локтями. У такого - массовидного - человека нет и не может быть явились характера. Как явление, состояние и феномен, - человек массы, что бы и сколь много было не сказано, - еще не описан до конца, не систематизирован и даже не занял своего места в человеческой генеалогии. Иное дело - одиночка. Вся литература по существу - история одиночек. А музыка? А живопись? То-то и оно. Все они - групповой портрет одиночки.

Одинокий - и не привязан, и не опирается, и слишком легок, несолиден, ненадежен, поэтому его и не принимают в расчет и всерьез.

Мой знакомый был одинок и потому, что внутри свободен, а вовне не нуждался ни в какой привязанности. Такие люди бывают и спокойны, и добры, и не завистливы.

- Дети? - спрашивал он. - Да, выросли. Духовная связь? Шутите. Плоскость личного бытия может пересекаться лишь во времени, а у разных поколений неодинаковы точки отсчета, иные скорости течения, и вот...

- Помилуйте! - воскликнул он. - Такое нисколько не ужасает. Все привязанности - от страха. Чувство страха, как и чувство голода, постоянно требует хотя бы малого удовлетворения. Вот человек и привязывается, - к детям, к работе, к иллюзиям.

- А вы? - настаивал я. - Вы ведь тоже к чему-то привязаны, не так ли? Хотя бы к самому себе?

Он улыбался, постукивая неслышно пальцами по столу. Мы сидели на кухне и пили горячий густой бархатистый коричневый чай. В открытую форточку с улицы доносились воробышные ссоры, людские голоса, отдаленный шум машин.

- Есть и у меня привязанность, - вынужденно признался он.
- Камень. Пойдемте покажу.

- Надеюсь, не почечный? - неудачно пошутил я, несколько смешавшись от его признания, - привязанность к вещам всегда казалась мне верхом нелепости и дурного вкуса.

В крохотной комнатке, служившей в разное время для то

спальней, то кабинетом, то гостиной, в углу у стола на узкой больничного вида белой тумбочке важно восседал на пестрой тряпичной подстилке здоровенный и, как мне показалось, весьма самодовольного и глуповатого вида серый бульжник. Я подошел ближе и, стоя сбоку от окна, рассмотрел, что это ~~об~~ осточенный временем гранит, отдаленно напоминающий голову человека. Лоб у этого камня был мощный, высокий и выпуклый, усеянный редкими блестящими гранями. Я погладил камень, он был теплый.

- Прекрасная вещь! Как он к вам попал?

- Случайно. Совершенно случайно. Несколько лет тому назад нашел его в лесу. Возвращался на станцию с грибами и вдруг чувствую - кто-то на меня смотрит. Пристальным взглядом - в спину. Это было чувство не страха, а какой-то неожиданной новизны. Я оглянулся и увидел его. Он между двух пней торчал, наполовину высунувшись из земли... И с той поры мы живем вместе. Прекрасно уживаемся, привыкли, я с ним разговариваю. Характер у него совершенно покладистый. Правда, когда я надолго отлучаюсь из дома, знаете, в магазинах приходится стоять в очередях, и возвращаюсь, то вижу, что он очень переживает за меня, делается темный и хмурый. А вообще, вполне покладистый. Очень любит, когда читаю ему вслух... У него всегда превосходное состояние, только городская жара на него сильно действует. Летом начинает потеть. Вы не знаете, отчего камни потеют? Может, внутри какой непорядок?

Я успокоил его, сказав, что внутри у камня все в порядке, что камни имеют обыкновение потеть в жару, как и люди, особенно камни высоких широт...

Прошла весна, лето, в природе установилась осень, однажды выпал обильный крупнодисковый снег и через день растаял. Изредка по утрам появлялось солнце, мимоходное и несерьезное, отчего все сразу обретало смешливый, праздничный вид.

В один из таких субботних дней я вспомнил про своего чудака и отправился его навестить.

На распашку дверь открыла чужая женщина, занятая уборкой или стряпней. Женщина вытерла мокрые руки о передник и вопросительно посмотрела мне в лицо, потом на губы. Я догадался: глухонемая.

- Где хозяин? - громко спросил я.

Она руками объяснила, что умер.

- Как, умер? - снова прокричал я.

Она едва заметно улыбнулась моему громкому голову, потом из-за электросчетчика щош у двери достала сложенный вчетверо

лист бумаги, протянула, и я прочитал последний адрес моего чудака, - кладбище... район... ряд... могила...

- Родственники у него были? Или друзья?

Она покачала головой и снова, двигая губами, лицом и пальцами, сказала, что никого у умершего не было, что хоронила его жилконтора, что вещи продали через магазин, и что-то еще она показывала, чего я не понял.

- Извините. До свиданья. - Я повернулся уйти. Женщина удержала меня за локоть и показала, что в доме остался камень, он лежит в ванной, камень тяжелый, и что хорошо, если бы я забрал его с собой.

Под ванной лежал тот самый валун, пыльный, грязный, жалкий, засаленный, в трещинах. Женщина принесла крепкую широкую тряпку.

Я перекатил бульдожника, связал концы тряпки, просунул руку и с нелепой ношкой выбрался на улицу. Первым побуждением было забросить камень в кусты, где ему самое место, но то ли от северного страха, то ли из жалости, только я тотчас отправился на кладбище.

От станции я добрался на автобусе, затем шел минут сорок, часто перекладывая ношу с руки на руку или опуская на землю, чтобы отдохнуть.

Холм на ~~могиле~~ могиле осел, но простой, неукрашенный крепкий деревянный крест стоял прочно, основательно. Таблички на кресте не было, только номер выведен черной битумной краской.

Я выкатил на могилу камень из тряпки, повернул его лбом на восток и постоял у креста, размышляя о пристрастности судьбы и ~~о~~ тщете человеческой надежды. Хорошо, хоть сюда его, бедолагу, принесли, в землю, а не на сожжение, как по новомодному обычаю. Представилось мне, что лежит он внизу, по-прежнему скрещивши руки на груди седенький и аккуратненький, но не степенно, по-наполеоновски скрестив руки на груди, а на боку, свернувшись калачиком, будто времнуть прилег после обеда. Вспомнилось, что у бедняги были какие-то родственники. Что же они? Или не знают? Впрочем, ему уже все равно. Камень при нем. И весной, когда земля помягчает, камень опустится вниз и скроется в земле, всех принимающей, ко всему равнодушной.

Я перекрестился и пошел прочь.

Кладбище было на свой лад прекрасно. Не такое, как старые деревенские погосты, теперь, небось, выведенные с лица земли, старые кладбища, застраивающие дикими кустами, деревьями и тра-

вами, где среди покосившихся крестов, осевших могил и толстых могильных плит, черных от времени и зеленых от плесени, — так хорошо было готовиться к выпускным экзаменам по физике...

У дороги в ожидании автобуса я присел на скамейку покурить и подумать. У меня в тот момент было такое, знакомое вся кому, состояние души, когда, кажется, вот-вот придет к тебе свежая, неизвестная мысль, и тогда откроются иные дали, иные горизонты, и ты будешь весь готов для дружеского, нэгоистичного, легкого и мудрого общения.

Потом я почувствовал взгляд, неустойчивый и одновременно пристальный.

Там, у дороги, недавно рыли траншею и еще не закопали, и сверху на неровной горке смерзшейся белесой земли, вместе сбитым кирпичем, гнилыми деревяшками и бутылочным стеклом, лежал камень. Не очень головащий и не совсем старый, он упрочно смотрел мне в лицо, и трудно было тотчас определить, чего больше в его взгляде, — злобы ли, соучастия ли, жалости.

Я улыбнулся ему и стал расправлять широкую тряпку у своих ног.